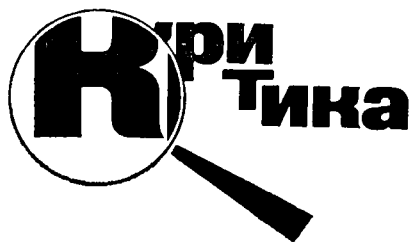


## Давние грозы



Двадцать с лишним лет назад, в 1965 году Василий Белов начал писать очерк «Раздумья на родине» — о вологодской деревеньке Тимонихе с ее «реденькими домами», с чистой, «как младенческая слеза», водой речных омутов, с внезапно возникающими тут «шальными» грозами, с оплывшими холмиками кладбища и «высокой, в пояс» травой на месте былых строений.

«Собственно, деревни-то нету, — размышлял автор, — семь жилых домов — не деревня. Какие грозы спалили смоленые срубы древних домов, гумен, бань, сеновалов, амбаров, мельниц?.. сон не идет ко мне, гляжу в тесанный потолок, на котором великое множество сучков. Народное поверье гласит, что нельзя разговаривать в той избе, где много сучков: они молчаливы, зато все глядят. Надо добавить еще, что сучки ни гнили не поддаются, ни времени».

Многое припоминается при таком созерцании, главное — сами судьбы обитателей этой и других тимонихинских изб, память о которых в отличие от сучков, увы, не вечна и требует немалых усилий для своего закрепления.

И, читая беловские «Кануны», эту, как сказано в подзаголовке книги, «хронику конца 20-х годов», нет-нет и заметишь и в событиях, происходящих в тамошней Шибанихе, и в характерах ее жителей отблеск, отголоски былых тимонихинских забот и страстей, словно бы ожили и тихо перешептываются друг с другом — и с нами — «сучки», повествуя обо всем выпавшем на их долю.

Разглядывая — по большей части ныне «безработный» — деревенский инвентарь, все эти косы, серпы, кадушки, кросна, прялки, ручные жернова, автор очерка ощущал окутывающую их «горькую дымку поэзии сельского труда и запредельного крестьянского быта» — запредельного, ибо уже в многом канувшего в прошлое.

Создатель своеобразного поэтического «путеводителя» по этой погружающей в волны времени «деревенской Атлантиде» (как давно и довольно беспечно выразился один поэт) — книги «Лад», Василий Белов не был бы правдивым художником, если бы принялся божиться, будто нам пришлось расстаться с сущей идиллической Аркадией. Недаром при самом «входе» в новую книгу встречает читателя кривой полунитый мужик по прозвищу Носопырь, который не просто внешне «слишком несуразен лицом и фигурой», но и «внутри»-то, как оказывается в дальнейшем, словно бы выгорел за всю нескладную жизнь и при случае может продать и предать тех, кто жалел и поддерживал его. Далекий от идеальности и местный пастырь — отец Николай, весьма приверженный многим так называемым слабостям, но, впрочем, могущий в «оправдание» свое сослаться на своего давнего и красочного предка — дьякона Ахиллу из лесковских «Соборян». Но вот развернутся самые драматические события книги и никак не откажешь в правоте старика Никите Рогову, когда при виде творящейся несправедливости он яростно восклицает по адресу Игнахи Сопронова (в раннем, журнальном варианте — Софронова): «От своего же вора, от своего же проходимца гибель приходит!»

Однако это «все впереди», если воспользоваться названием другой книги того же автора, на которую, к сожалению, в последнее время явно переключилось внимание если не читателей, то заметной части критики.

И поначалу некоторые эпизоды «Канунов» живо и занятно переключаются со страницами «Лада» — описание деревенского праздника, посиделок, свадьбы.

«Гармонь пела приятно и еще с дальним оттенком печали», — этими словами можно охарактеризовать тональность первых глав

книги, неспешно разворачивающих перед нами панораму шибанихинского жителя-бытья. И лишь вроде бы чисто эпически звучащее упоминание: «Шла вторая неделя святков, святков нового, тысяча девятьсот двадцать восьмого года», — похоже на еще беззвучно вспыхнувшую на горизонте зарницу и тревожно переключается с просто-душно распеваемой деревенской молодужью рекрутской песней:

Жить не долго остается  
На родимой стороне.

Еще всего только комические выглядят и озадаченность молодого председателя сельсовета Микуленка полученной из уезда бумагой, столь бесконечно далекой и по духу, и по канцелярски-тарабарскому слогу не только от святочного разгула, но ото всех сугубо будничных забот российской глубинки, и впопыхах сочиняемый им ответ. В нем помимо беззастенчивого вранья о якобы проведенной «проработке тезисов ЦК и контртезисов оппозиции», о которых Микуленок явно имеет не менее туманное представление, чем о смысле таких слов из директивы, как «констатация фактов», под дымовой завесой громких слов говорится и о реальных нуждах кооперативного хозяйства («Клеймя позором английских капиталистов, требуется укрепление ТОЗа кредитом, также просим выделить одну конную молотилку»).

Но уже в этом, вроде бы забавном эпизоде смутно проступает драматическая разнонаправленность многих действующих в жизни сил.

Бюрократическая бумажка, которая «допекла» Микуленка, — вялое отражение (и потому скорее — искажение!) бушевавших в партии споров о путях дальнейшего развития страны, споров, которые не могут не отозваться в самых что ни на есть «медвежьих углах».

Казалось бы, пора даже сказать: отбушевавших, так как троцкистская оппозиция разбита и, как явствует из полученного Микуленком запроса, «с мест» требуется лишь присоединение к возобладавшей точке зрения. Завещанная Лениным новая экономическая политика прочно усвоена крестьянской массой, стала ее внутренней опорой, восстановила изрядно нарушенную войнами и революцией стабильность и позволила людям загадывать на будущее (в «Канунах» это воплощено в смелом приступе молодого Павла Пачина к постройке мельницы и в том в особенности, что его затею поддерживают более взрослые и здравомысленные мужики, несмотря на определенный риск,

с нею связанный). Постепенно, осмотрительно набирает силу кооперативное движение в разных своих формах (в Шибанихе «все мужики, все хозяйства поголовно в потребилровке», «маслоартель... ширится и льняное товарищество»).

Правда, и в эту пору не обходится без разных административных действий, отнюдь не способствующих успехам хозяйственного развития в стране, но какое-то время они воспринимаются как досадные частные промахи, еще не прочерчивающие некую настораживающую «линию».

В первой части беловской хроники поступки уездного уполномоченного, а затем секретаря сельской партийной ячейки Игната Сопронова воспринимаются скорее как анахронизм, отрывка времен военного коммунизма. Житейская и даже некая психическая ущербность побуждает Сопронова смотреть на односельчан и прочих крестьян явно предвзято. Все у него «сплошь зажиточные и кулаки». Иные его выходы — на грани анекдота (на основании увиденной в газете статьи Ольминского «Ленин или Толстой?» он конфискует сочинения писателя!). Другие же поопасней, но до поры на Игнаху, как его непочтительно кличут, находится укорот, и его даже освобождают от секретарских обязанностей — «за троцкистские взгляды и левацкие методы».

Однако «был ли Игнат Сопронов троцкистом?» — не без основания спрашивает Игорь Клямкин в одной из глав своей чрезвычайно интересной статьи «Какая улица ведет к храму?» («Новый мир» № 11. 1987) и считает ответственным за неверное зачисление беловского героя по этому «ведомству» автора книги о писателе — ныне покойного Юрия Селезнева (не называя, впрочем, его прямо). Действительно, в этой книге «троцкизм» Игнахи резко акцентирован. Однако уже приведенная выше цитата показывает, что все же не Селезнев первый сказал «Э!».

То, что резко осажженный сначала в селе и даже в уезде Сопронов вскоре снова оказывается «на коне» и в дни форсированной коллективизации получает задание создать в Шибанихе колхоз... к вечеру (!), имеет в хронике явственную параллель с тревожными размышлениями истинных большевиков (например, секретаря губкома Шумилова) о явно крепнущей «тенденции... с уклоном влево», о непонятном восстановлении в партии одного «закоренелого троцкиста», который «снова шумит в Вологде и мутит воду где только может», о том, что высланный в Алма-Ату Троцкий «пакостит по-прежнему», а что касается Сталина,

то его «в Москве считают почему-то правым».

Заметим, что сам Игнаха, напротив, предвещает совсем иное: «С нэпом-то, по все-му видать, товарищ Сталин разделается...» И правда, странный какой-то троцкист...

Можно было бы счесть это сугубо личным взглядом Белова, если бы и в романе Бориса Можая «Мужики и бабы» один из героев, выступающий в роли трезвого наблюдателя назревающих «перегибов», тоже не видел бы в их застрельщиках «последней Иудушки, кровопивца Троцкого». И это отнюдь не случайная, единичная обмолвка Успенского, во многом явно выражающего мысли автора.

Слов нет, у Троцкого хватает серьезнейших прегрешений перед страной и народом. Однако о его позиции в пору так называемой сплошной коллективизации можно судить хотя бы по тому, как она была охарактеризована в докладе С. Орджоникидзе на XVI съезде партии в июле 1930 года, где приводились и высмеивались предложения «оппонента»:

«В области сельского хозяйства,— пишет далее Троцкий,— задержать дальнейшую коллективизацию». — Ишь ты, какой левый! (С м е х)... «Приостановить раскулачивание!» — требует Троцкий. Помните, сколько он болтал о кулаке, сколько раз он упрекал нас за то, что мы, мол, не так деремся с кулаком. (Г о л о с а: «Да, да»). А теперь, когда большевистская партия, подготовившись заранее, как следует взяла этого кулака за глотку, он говорит: не трогай, приостанавливай раскулачивание. Вот это называется «левизна!» (Стенографический отчет. 1930. М.-Л., с. 324.)

И в отчетном сталинском докладе тому же съезду хотя и говорится о препятствовавших успехам сельского хозяйства «перегибах и головокружении «левых», однако в данном случае о троцкизме даже не упоминается, да и весь съезд проходит под знаком завершения борьбы с «правыми» — Бухариным и Рыковым, главными противниками плана форсирования коллективизации.

Сталин говорил, что «ни одно наступление, будь оно самое успешное, не обходится без некоторых прорывов и заскоков на отдельных участках фронта». В этой формулировке — истоки той бюрократической «поэтики», которая потом целыми десятилетиями служила заслоном и оправданием самых серьезных ошибок и даже порой преступлений, отливаясь в броские формулы типа «лес рубят — щепки летят» или «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Вместе с тем и для полного объяснения и оправдания всего этого «некоторого» и «отдельного» бюрократизм искал какого-либо козла отпущения, чтобы самому выйти сухим из воды. В этом смысле довольно своеобразный оттенок приобретает утверждение одного из съездовских ораторов: «Вредительство для нашего хозяйства имело колоссальное значение», хотя, казалось бы, оно заметно расходится с данным самим Сталиным определением вредительства «как формы проявления классовой борьбы со стороны небольшой кучки буржуазных специалистов, этой агентуры международной буржуазии». Впрочем, приведший эту «исчерпывающую характеристику» Орджоникидзе тут же утверждал: «Теперь мы привыкли и знаем, что таких вредителей много, и поэтому (!) раскрывать их не так-то уж трудно».

И вот когда огрехи и, если придерживаться вышеуказанной поэтики, некоторые отдельные последствия «великого перелома» в сельском хозяйстве с годами делались все заметнее, то, спохватившись, «не так-то уж трудно было» отнести их на счет троцкистов.

Удивительно ли, что и Белов, и Можая, писатели, чрезвычайно друг на друга не похожие, «вдур» воспользовались этим привычным стереотипом, хотя против него буквально вопияли и вышеупомянутое упование Игнахи на Сталина как упразднителя нэпа, в условиях которого сопрововым трудно развернуться, и порой возникающие в можаевской книге реплики из мужицкой гущи, чутко прислушивающейся к обозначающему повороту «влево»? Ограничусь следующим выразительным диалогом:

«...ответ на такой вопрос: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?»

— Ну, это несерьезно!

— Как так — несерьезно? Видел, на портретах — Ленин в ботиночках со шнурками... А Сталин — всегда в сапогах. Почему?

— Такая уж форма одежды. Сталин — человек полувоенный...

— Чепуха! — сказал Федорок. — Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи».

В иные времена Федорку бы не поздоровилось за эту «антисоветчину», но суть поворота в политике, который здесь, пусть даже прямолинейно, отождествлен с конкретным человеком, ухвачена метко и едко.

Однако, когда Белов и Можаяев уже, видимо, всюду трудились над художественным воссозданием этого переломного времени, в освещении деятельности Сталина произошел тоже своего рода поворот — откат в сторону прежних, «канонизированных» ее оценок, реставрация или, в лучшем случае, легкое «подновление» былых оценок, их же не преjdeши.

Наши авторы в какой-то мере оказались в положении Павла Пачина, чья строящаяся мельница оказалась вроде не ко времени и возбуждала недовольство и подозрения у разнофамильных Игнашек. И не удивительно, что это, сказавшееся и в литературе попятное движение в определенной мере отразилось на работе обоих писателей, побудив их вольно или невольно потянуться к изрядно перепрелому строительному материалу.

Однако за вычетом этого обстоятельства «Кануны», как и «Мужики и бабы», заслуживающие отдельного разговора, рисуют весьма реалистическую картину происшедшего.

«Нет, революция пусть будет представлена революцией, а не благоприличной картиночкой, где впереди рабочий с красным знаменем, за ним — благостные мужички в совхозе, и на фоне — заводские трубы и встающее солнце. Время таким картинкам прошло...» — писал еще шестьдесят лет назад, в 1927 году, Алексей Толстой, хотя и сам он, прямо скажем, не во всем впоследствии следовал этой программе, да и «время», о котором он говорит, к сожалению, «подзадержалось».

Стремясь воссоздать истинные, во многом драматические масштабы «многопенного вала» (если вспомнить слова Блока), который неминуемо будет «на пути своем крушить виновных, как и невиновных», ни Белов, ни Можаяев нисколько не утаивают «ни луж, ни грязи».

В одной из сцен беловской хроники разбитной отец Николай вместе с другими участниками незатейливой пирушки распевает заливчатскую песню Демьяна Бедного:

Что с попом, что с кулаком  
Вся беседа, —  
В брюхо толстое штыком  
Мироеда.

Распевает как нечто, не имеющее к нему отношения, повествующее о «делах давно минувших дней», и ведасть не ведает, что вскорости сам станет участником таких «бесед», где «слово» получают если не штык и маузер времен гражданской войны, то весьма родственные им и не менее неотразимые «аргументы».

Разумеется, в те годы перед новорожденным обществом было действительно непроторенное неотложных задач и проблем (потребность в индустриализации, в укреплении обороны страны и так далее), но выбор способов их решения и характер их осуществления во многом подстегивался и определялся, пожалуй, все-таки не только самими этими реальнейшими нуждами, но и быстро усвоенными значительной частью административного аппарата бюрократическими навыками.

Некогда Щедрин саркастически уверял, что чиновник его времен, получив поручение вычислить, сколько Россия может вырастить картофеля, исполнит его самым простейшим образом: возьмет карту, поделит страну на квадраты, узнает, какой средний урожай можно в среднем вырастить на соответствующей площади, и перемножит эту цифру на количество квадратов! Нечто подобное не раз происходило и в куда более поздние времена. Конкретные условия каждого «квадратика», до которого доходили перемены и реформы, зачастую попросту игнорировались. Реальная, многообразная жизнь затапливалась на прокрустово ложе отвлеченных, суммарных представлений и соображений, а осмотровальное ленинское предупреждение, о котором напомнил в послесловии к своей книге Борис Можаяев, о том, что нельзя, не зная истории данного хозяйства, сказать: кулаческое оно или нет, по большей части оставалось отныне на бумаге.

Уже в самом начале «Канунов» даже довольно легкомысленный Микуленок недоумевает и досадует, когда немощной, совершенно бесперспективной окрестной коммуны, так сказать, из принципа «пегают в оба конца, чего не спросят... А нашему ТОЗу — хрен с возу!».

В дальнейшем же кадры, проводящие коллективизацию и раскулачивание, без особого разбору вербуются из бедняков, какова бы ни была их «история», что бы ни было причиной их несостоятельности (хотя бы просто лень или даже склонность к паразитизму!), а вся тяжесть налогового обложения, все печальной памяти «твердые задания» приходится на долю сколько-нибудь вставших на ноги хозяев. Недаром у прибывших в Шибаниху агитаторов за артель возникает своего рода зловежда «смычка» (призывное слово тех лет!) с Игнатом Сопронным, полным самой злобной мстительности по отношению к любому, кто кажется ему «зажиточным». И эта совместная деятельность вызывает к жизни горестно-презрительную частушку: «Как по этой по де-

ревенке пройдем-проухаём, наши головы не варят, кулаками стучаём!»

Тягостные предчувствия вероятных драматических поворотов в своей судьбе томят многих беловских героев, и ответ этих настроений ложится на самые обычные хозяйственные хлопоты. Всего только тараканов морит Иван Никитич Рогов, а почему-то «ему было жутко распахивать двери, пускать в избу густой январский мороз... Вышел из избы, закрыл на замок ворота в сени. Скрипя серыми валенками, пошел к Евграфу. Но не утерпел, оглянулся. Над трубой чуть заметно дрожало, медлило покидающее избу тепло».

Словно видение какой-то иной разлуки ниспослано герою — автору же, наверное, вспоминаются остывшие очаги родной Тимоники.

Кооператор Шустов печально наблюдает, как в изменившихся условиях отлетает жизнь от дела, к которому он отдал много лет.

И уже как-то по-иному вспоминается, как Павел Пачин валил для своей мельницы великаншу сосну и после этого «в синем небе образовалась зияющая пустота».

Впрочем, книга не зря названа «Кануны»: ее третья часть так и завершается на этой ноте тревожного ожидания трудных перемен, а для нас, современных читателей, — сурового напоминания об отшумевших «грозах» и их уроках.

О том, например, что, как говорится в уже упоминавшейся статье Игоря Клямкина, «левым Игнашкам предстояла долгая жизнь хозяев положения, превращение в овечьинских борзовых, потесненных, но не вытесненных до сих пор» (в отличие от можаевского Возвышаева и других «перегибщиков», едва ли не по воле автора угодивших в конце концов на скамью подсудимых).

И о том, как может отозваться все пере-

житое на детях и внуках героев книги. Любопытно, например, что в толпе ее многочисленных персонажей изредка мелькает Африкан Дрынов, бедный мужик из дальней деревни со своей «замасленной, пропотелой буденовкой» и весьма трезвыми суждениями («Нэп отменят, так это дело и по бедноте тоже стукнет. Второе дело, беднота бедноте — розны!»). Постой, думаешь, да уж не отец ли это нашего старого знакомого — Ивана Африкановича, героя беловского же «Привычного дела», которого кто восславлял за кротость и долготерпение, а кто за это же корил чуть ли не по-прокурорски: дескать, откуда у солдата Великой Отечественной, победителя, такое смирение?!

Нетрудная, однако, загадка. Вспомним, что и сознательнейший абрамовский Илья Нетесов, храбрый на войне, тоже во многом спасовал в «мирной» жизни. То, что у Африкана Дрынова за долгие годы выпцвела буденовка — невелика беда. Вот когда выпцвеляют, линяют, деформируются человеческие характеры — это хуже, хотя для разнофамильных сопроновых весьма удобно.

«Да, все изменится: дома и дороги, поля и речки, — писал Белов в «Раздумьях на родине», знаменательно завершенных в один (1984) год с третьей частью «Канунов». — Я знаю об этом. И если новое будет лучше старого, я ни о чем не стану жалеть...»

...Но вспомнишь про молчаливые сучки на тесаном потолке тимонихинского дома и захочется вернуться к более ранним страницам, перечесть другие, больше пришедшие тебе по сердцу строки:

«И снова будет сниться то сенокос, то широкий разлив вешней реки, опять послышится дальний окающий голос причетчицы:

Ты послушай-ко, млада-милая,  
Что я буду тебе сказывать.  
Тебя станут звать, да млада-милая,  
Станут звать да за Забыть-реку,  
Ты не еди за Забыть-реку,  
Ты не пей-ко забытвой воды...»